

Ю. И.
АЙХЕНВАЛЬД

Избранное



Юлий Айхенвальд

Борис Зайцев

«Public Domain»

1910

Айхенвальд Ю. И.

Борис Зайцев / Ю. И. Айхенвальд — «Public Domain»,
1910 — (Силуэты русских писателей)

ISBN 978-5-457-13366-2

«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч...»

ISBN 978-5-457-13366-2

© Айхенвальд Ю. И., 1910
© Public Domain, 1910

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

9

Юлий Исаевич Айхенвальд Борис Зайцев (Наброски)

На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто прикидается к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч. Он душою своей возносится над «миром тесноты и тьмы», поднимается к Филону-философу, к предвечному божеству гностиков, но не гнушается и тем, что внизу. Это удивительное сочетание натурализма и поэтичности, эта наивная небрежливость уверенного в себе хрустального писателя вызывает и в душе читающего то очищение, то аристотелевское «катарзис», от которого бесконечно далеки многие произведения современного слова. Чистый, насквозь пронизанный солнцем, верный сын его, Зайцев и сам пронизывает жизнь светом тихим, светом славы; он чувствует святость природы и человека, и это именно составляет его охрану, его палладиум в жизненных скитаниях, сквозь гущу грубой обыденности.

Он очень знает скорбь и горе; в «Спокойствии», например, неотразимо сильное и расстрогающее впечатление производит образ мальчика Жени, умирающего, не спасенного отцом-доктором. Был прекрасен этот Женя и благороден, «говорил литературно и с весом». Отец его, воплощенное и замкнутое в себе страдание, вдовец, так, внешне холодно, рассказывал о последних часах Евгения, своего единственного ребенка, единственного смысла своей угрюмой жизни: «Сегодня Евгений говорил мне: „Папа, я боюсь, как бы мне не умереть“... А потом Евгений обнял меня и говорит: „Папа, теперь я смерть вижу. Она вот там... Папочка, – говорит, – у меня холодают ножки. Погрей мне ножки, не давай меня смерти. Очень, – говорит, – прошу тебя: не давай!“ Так. Вот он мне и сказал это». Женя умер, но отец его остался жив и, обыкновенно серый и сдержанный, теперь просветлел, и слезы пошли по его лицу. Это и характерно для Зайцева: он чувствует страшное, и страшны его спокойные слова: «диагноз оказался простой – чахотка»; но мир посылает ему свои целительные волны, дает великое «спокойствие», не отдает его, как Женю, смерти, нравственной смерти и холоду. И один из самых страдающих героев, побеждая свое страдание, поднимаясь над болью своею, говорит: «Цветут ли человеческие души, – ты даешь им аромат; гибнут ли – ты влагаешь восторг. Вечный дух любви – ты победитель». Именно победительность духа любви слышится на страницах Зайцева, и когда стоишь вместе с ним, в его излюбленной Италии, на берегу Адриатики, то хочется провозгласить какую-то мировую здравицу, хочется «зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного далекого сердца, иной страны». Смерть и гибель, наши катастрофы и кровь – это не касается нас, это не доходит до самой глубины, до самой середины нашего существа; это не мы умираем, это не мы страдаем, это не нас убивают: все это разбивается о то благостное и великое «спокойствие», о ту сокровенную безмятежность, о то возвышенное, во что облакает нашу душу непобедимый дух любви. И погибая, мы не испытываем ужаса гибели, и на устах наших – молитва миру; и уходя из жизни, мы, изгнанники потерянного рая, благословляем его, славословим эту жизнь, слагаем ей проникновенные хоралы и говорим ей, что она благодатна и прекрасна, – несмотря на смерть Жени с холодеющими ножками, несмотря на измену любимой женщины и всюду проливаемую кровь. Пусть изменила эта Лина, красавица пышная, – но в душе у того кто ее любит, кого она разлюбила, воцаряется только «кроткая усталость» и покорное. Да будет

благословенна любовь – за то, что она дала, за то, что она отняла, за свое прошлое и за свое настоящее; да будут благословенны все эти женщины! В чем их упрекать, за что ненавидеть? Их только можно любить «медленной, глубокой» любовью, с их белыми руками, с их жемчугом журчащим. Лину «зовет жизнь, она будет взята, она пройдет свой путь страсти, любви, наслаждения». Будет сидеть у ее ложа и страдать тот, кому она изменила, – но в этом есть свое счастье, свое «спокойствие».

Метерлинк учит нас, что мы ни в чем не виноваты, что к нашим преступлениям непричастно самое ядро нашей души: мы прирожденно чисты, мы – святые; все дурное, что мы делаем, это лишь дурной сон, тяжелый кошмар, и сестра Беатриса совсем не грешила там, в миру, вне стен монастыря, – это ей лишь казалось; на самом же деле, когда она ушла, в монастыре заняла ее место, приняла ее облик Мадонна, которая не только Богоматерь, но и сестра сестры Беатрисы, душа сестры Беатрисы. Наша душа – Мадонна, и Мадонна – это наша душа. От века невинная, своей незыблемой невинности обреченная, она, как нагая и наготы своей не стыдящаяся Монна Ванна, одета в самое себя, в покровы своей природы, – белая невеста; и оттого она с улыбкой проходит среди наших пороков и преступлений; она их не знала, не знает, – она ни в чем не виновата, и, таким образом, в основе своего духа, хотим ли мы этого или нет, – мы невинны. Так учит Метерлинк. Зайцев же, независимо, своими путями придя к тому же исповеданию, верит не только в конечную святость человека и благородную верность его, но и в его неминуемую счастливость, в его неизбежное спокойствие. Мы недосыгаемы для отчаяния, и тщетны все усилия жизни вызвать его. За несколько дней до смерти, слабыми пальцами трогая цветы сирени, горько улыбается человек и вспоминает, что «никогда не мог найти в сирени пяти лепестков – счастья»; но потом он стал думать о Боге, о любимых женщинах и целует сирень, бледно-фиолетовую, с капельками росы. И когда он умирал и в своих объятиях держала его жена («жена моя, Надежда, верная жена»), он вдруг сказал, в небольшой перерыв между муками:

*Te spectem suprema mihi cum venerit hora,
Te teneam moriens deficiente manu —¹.*

и поцеловал жене руку. И взглянув ей в лицо, произнес: так. Утром он умер. Последнее человеческое слово: так. Мы утверждаем, и это тем более, что мы никогда не закончены, не ограничены и нам принадлежит весь мир, а он – неисчерпаемая житница утешений. Герой Зайцева далек от своей родной России, он в Италии: «эта страна – чужая, но как он близок ей!» «Да, я в чужой, но и в своей стране, потому что все страны – одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую». Все страны – одного хозяина, и везде человек дома. Поэтому именно входит мир в его растроганное сердце, и, когда перед ним расстилается город и «русская, светло-осенняя даль», он переживает светлое, «просторное» настроение и думает: «Там живут тысячи людей, и я живу, плету с другими бедную свою нить... Он стоял. Тихо было в сердце... Уйти в мир бескрайный, светлый, скорбный; в неизвестность, бедность, одинокую жизнь. И, зная час свой, принять его с улыбкой – незримая свеча в глубине сердца. Жизнь, смерть – привет. Любовь – благословенье».

В таком же духе пантеистического примирения – заключительные строки «Лета». Скосили траву на деревенском кладбище, на могилах. «Зачем же пропадать траве, выросшей хотя бы на наших ближних? Но прибавлю, что кладбищенский покос не показался мне ни странным, ни кощунственным. Напротив, в той простоте, с какой скосили сено в этом таинственном для нас месте, в этой простоте была, быть может, вера: и, во всяком случае, очень покойное, доверчивое отношение к Богу и природе. Мне припомнились наши разговоры о

¹ Тебя я вижу, когда наступает мой последний час, и, умирающий, держу слабеющей рукою – (лат.)

том, что лучше быть погребенным в Новодевичьем монастыре, чем здесь. Сейчас, не оспаривая своих собственных желаний, я подумал, что земля одинаково примет нас, величественно и простодушно, будем ли мы лежать в Москве, здесь или в далекой степи Ибо один, и безмерно велик, жив свят и могуществен мир Бога живого».

Так блюдет Зайцев человеческое достоинство и достойную тишину, и самый мир для него тоже пребывает в тишине, ожидающей Слова.

«В бурях земных противоречий» странствуют у Зайцева мужчины и женщины. «Непрестанно гонит их вперед воля Великого Владыки; тысячи раз придут они, тысячи раз уйдут». Иные из них (как в рассказе «Путники») будто астральны, будто отрешены от всякой земной тяжести и сотканы из легчайшей материи сновидений. Неслышной поступью передвигаются они, живые тени, едва очерченные силуэты на исчезающем свитке мировой скоротечности, смутные эфемеры бытия, – и в какой-то «дальний край» направляют свои легкие шаги. Люди – прохожие; люди – переселенцы; и путь свой держат они по вечным звездам. Странные и странники, «усталые путники, кочующие и ночующие», они реющими призраками растворяются в маревах мира. Но такие воздушные и бесплотные, они тем не менее реально страдают: силуэтам больно. Вот это сочетание нашей силуэтности и нашей скорбной незадачливости образует внутренний фон тех судеб, которые переживают герои Зайцева. И жалко у него даже тех, кто свою боль как будто заслужил (если только вообще может быть заслуженная боль). Например, Похитонов из «Пощады», в терминах спорта определяя свою участь, говорит о себе: «лечу за пределы площадки», – той жизненной площадки, на которой нами, беспомощными, кто-то играет в теннис. Человек заслуживает пощады. Не только Бог простит, но и мы друг другу прощаем. У нас есть право на эту взаимную снисходительность. Ибо пусть мы виноваты, но зато же мы и наказаны – и часто даже сверх вины и сверх меры. Если у кого и без особенных катастроф и потрясений струится жизнь, то уже во всяком случае к каждому, в конце концов, или в середине, или почти в самом начале, приходит та «иррациональная величина», с которой зайцевский герой, математик, сравнивает смерть. И этой величины вполне достаточно, чтобы сделать из нее кару за любое преступление. И потому, если в уютной усадьбе Ланиных так много любви, молодости и музыки, если там царит овеществленная в статуе Венера, «устроительница величайших кавардаков», то не надо сетовать на себя за эту причастность к счастью, не надо совеститься ее и признавать ее грехом, так как от этой упоенной любви очень близок переход к смерти, и влюбленная девушка Наташа недаром говорит: «По-моему, если любишь, надо умирать», и от венериних кавардаков создаются трагедии.

Есть, есть прирожденная святость сердца, первоначальная чистота души. А та земная пыль и нечисть, которая на белые обители духа налетает в изобилии от трудных жизненных дорог, да не будет нам поставлена в вину! «Господь смилуется над нами и простит». К тому же, если Юпитер сердится на нас, то мы не без основания думаем, что он виноват; он тоже виноват. Не только Юпитер нас прощает, но и нам есть за что простить Юпитеру. Чувство ответственности, ощущение вменяемости, конечно, сопутствуют нам; но в то же время нельзя отрешиться от мысли, что «все мы – точки гигантской ткани; кто-то ее прядет, и мы образуем узоры, складываемся так, вот этак, набегаем друг на друга, перекрещиваемся». Может быть, эти слова Евгения из «Усадьбы Паниных» соответствуют не столько объективной сути миропорядка, сколько общей созерцательности самого Зайцева; может быть, человек действительнее и самостоятельнее, чем типичные пассивные герои нашего писателя; но едва ли и самый энергичный деятель не чувствует себя в иные моменты этой зайцевской «точкой гигантской ткани» и не перелагает ответственности с себя на Ткача... Как раз эти моменты и подслушивает в человеческой душе Борис Зайцев.

Жизнь, «настоящая вечная жизнь» нередко рисуется ему как облака, которые плывут и тают. Жизнь в том и состоит, что она проходит. Ее сущность – отсутствие сущности. Ее

не уловишь, не удержишь, не обратишь ни во что прочное. «Так истает и уйдет в конце концов вся жизнь. Вся она обратится в облачко, сольется с голубым эфиром, из которого и возникла». Неизвестно куда, неизвестно зачем по миру идут вечные странники, под облаками, которые тоже куда-то идут, прообразы человеческих дней, и на горизонтах вечности образы людей, бранные силуэты, маячат проходят, исчезают, и велел зя отошедшими быстро умолкает скудный лепет наших эпитафий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.